

Толстой Лев Николаевич Неделание

Толстой Лев Николаевич
Неделание
(1893)

Редактор парижского журнала "Revue des revues", предполагая, как он пишет в своем письме, что мнение двух знаменитых писателей о современном положении умов будет мне интересно, прислал мне две вырезки из французских газет. Одна из них содержит речь Золя, другая -- письмо Дюма к редактору "Голуа". Я очень благодарен г-ну Smith за его посылку. Оба документа эти и по знаменитости своих авторов, и по своей современности, и, главное, по своей противоположности представляют глубокий интерес, и мне хочется высказать несколько вызванных ими мыслей.

Трудно нарочно подыскать в текущей литературе в более сжатой, сильной и яркой форме выражение тех двух самых основных сил, из которых складывается равнодействующая движения человечества: одна -- мертвая сила инерции, стремящаяся удержать человечество на раз избранном им пути, другая -- живая сила разума, влекущая его к свету.

Вот в полноте речь Золя:
"ЮНОШЕСТВУ

Господа!

Вы меня глубоко ошачили и много порадовали, избрав председателем этого годового собрания. Нет лучшего общества, более милого, и, главное, нет аудитории симпатичнее молодежи, перед которой широко раскрывается сердце, полное желанием быть любимым и выслушанным.

Увы! я уже в тех годах, когда наступает сожаление о минувшей молодости и когда заботятся уже о вновь подрастающем поколении. Они будут нашими и судьями, и продолжателями.

Я чувствую в них рождение будущего и часто с тревогой задаю себе вопрос: что из нашего они отбросят к чему сберегут, что станет нашим делом в их руках, потому что только в их руках оно станет делом, только тогда оно будет, если они примут его, чтобы расширить и довести до конца. Вот почему я страстно слежу за движением мысли в современной молодежи, читаю передовые газеты и журналы, стараясь узнать новый дух, оживляющий школы, узнать, наконец, куда бы все идете, вы -- разум и воля будущего. Правда, господа, тут есть эгоизм, я этого не скрываю. Я похож на работника, кончающего постройку дома, в котором он надеется провести остаток дней своих и который беспокоит, какая будет погода. Не повредит ли дождь его стенам? Или вдруг задует северный ветер и сорвет крышу с дома? А главное, прочно ли он построил дом, устоит ли он против бури? Прочен ли материал, предусмотрены ли несчастные случаи? Я говорю это не потому, чтобы предполагал, что какие-нибудь человеческие произведения могли бы быть вечны и окончательны. Величайшие из них должны примириться с тем, чтобы быть только моментом и непрерывным в развитии человеческого разума. Достаточно за глаза и того, чтобы сознавать себя хоть на самое короткое время носителем слова одного поколения. И так как нельзя закрепить литературу, а все непрерывно развивается, всё вновь начинается, нужно быть готовым видеть, как рождаются и растут младшие, которые заместят вас, которые, быть может, сотрут даже воспоминание о нас. Я вовсе не хочу сказать, что старый боец, который сидит по мне, не чувствует временами желания сопротивляться, когда он видит нападение на свое произведение. Но, право, в отношении наступающего будущего столетия у меня больше любопытства, чем возмущения, больше горячего сочувствия, чем личного беспокойства, и да сгину я, и да сгинет со мной всё наше поколение, если мы в самом деле годны только на то, чтобы завалить собой ямы и облегчить этим путь к

свету тем, кто следует за нами.

Господа! Я слышу постоянные толки о том, что позитивизм кончается в предсмертных муках, что натурализм уже умер, что наука обанкротится того и гляди, потому что не дала нравственного мира и счастья людям, которые обещала. Вы понимаете хорошо, что я не берусь здесь решать великие задачи, затрагиваемые этими вопросами. Я невежда. Я не имею права говорить от имени науки и философии. Если хотите знать, я просто романист, писатель, иногда немного угадывавший, и всё мое значение происходит оттого, что я много наблюдал и много работал. И только лишь в качестве свидетеля я позволю себе говорить вам о том, чем было или, по крайней мере, хотели быть мое поколение, люди, которым теперь пятьдесят лет и которых ваше поколение скоро назовет предками.

Я был очень удивлен на днях, при открытии выставки на Марсовом поле, особенным видом зал. Предполагается, что это всё те же картины. Это заблуждение, -- эволюция медленна, но каково бы было изумление, если бы можно было восстановить прежние выставки! Что касается до меня, то я хорошо помню последние выставки академические и романтические в 1863 году. Работа на воздухе ("полный свет", plein air) еще не восторжествовала, был общий тон битюма; это была какая-то мания, какие-то зажатые тона, полумрак мастерских. Потом, лет пятнадцать спустя, после победоносного и так оспариваемого влияния г-на Мане, я вспоминаю новые выставки, где блистал светлый тон полного солнца. Это было как бы наводнение светом, забота о правде, что делало из каждой рамки окно, широко раскрытое на природу, купающуюся в ярком блеске. И вчера, спустя еще пятнадцать лет, я мог усмотреть, как среди этой свежести произведений как будто подымается что-то вроде мистического тумана. Здесь всё та же забота о правдивой живописи, по действительность видоизменяется, фигуры как-то удлиняются, потребность оригинальности и новизны уносят художника за пределы мечты.

Если я говорю об этих трех стадиях современной живописи, то это потому, что они, мне кажется, очень ярко выражают движение идей нашего времени. В самом деле, мое поколение после знаменитых предшественников, которых мы были последователями, старалось широко открыть окна на природу: всё видеть, всё сказать. В нем, даже между самыми бессознательными, завершалось продолжительное усилие позитивной философии и аналитических и опытных наук. Мы были переполнены наукою, которая окружала нас со всех сторон, мы жили ею, вдыхая в себя воздух того времени. Теперь я могу признаться в этом, я лично был даже сектантом, старающимся перенести в область литературы строгий метод ученого. Но где тот человек, который в борьбе не заходит далее того, что нужно, и ограничивается победой, не нарушая выгоды ее? Впрочем, я ни о чем не жалею и продолжаю верить в страстность, которая желает и действует. И потом, какой энтузиазм и какие надежды одушевляли нас! Всё знать, всё мочь, всё победить! Посредством истины сделать человечество более высоким и счастливым! И вот тут-то, господа, вы, молодежь, выступаете на сцену. Я говорю, молодежь -- что-то неопределенное, отдаленное и глубокое, как море: потому что где она -- молодежь? Чем она будет в действительности? Кто призван говорить во имя ее? Я должен держаться тех мыслей, которые ей приписывают. И если эти мысли не принадлежат многим из вас, я вперед прошу их простить меня. Я обращаю их к тем, которые обманули нас сомнительными сведениями, более согласными, вероятно, с их желанием, чем с действительностью.

Итак, господа, нас уверяют, что ваше поколение разрывает с нашим, что вы не полагаете уже всей вашей надежды в науке, что вы признали такую социальную и нравственную опасность в том, чтобы всё строить на науке, что вы решились возвратиться к прошедшему и из остатков прежних верований создать для себя живое верование. Конечно, речь идет не о полном разрыве с наукою, -- предполагается, что вы принимаете все ее последние приобретения и что вы намерены расширить их. Допускается, что вы признаете доказанные истины, и прилагаются старания о том, чтобы

приладить их к старинным догматам. В сущности же, наука поставлена в стороне от веры. Ее отталкивают на ее прежнее место. Она -- простое упражнение ума и допускаемое исследование до тех пор, пока она не касается до сверхъестественного и загробного. Говорят, что опыт уже сделан, что наука не способна вновь заселить небо, которое она опустошила, и возратить счастье душам, наивный мир которых она разрушала. Время лживого торжества ее кончено. Она должна быть скромна, потому что не может всего знать, не может сразу всё обогатить, всё исцелить. И если еще не смеют сказать интеллигентной молодежи, чтобы она бросила свои книги и оставила своих учителей, уже есть святые и пророки, которые ходят среди людей, восхваляя добродетель невежества, ясность простоты и необходимость для слишком ученого и состарившегося человечества, необходимость освежения в глубинах доисторической деревни среди предков, едва только отделившихся от земли, до всякого общества и всякого знания.

Я не отрицаю того кризиса, который мы переживаем; это -- усталость и возмущение в конце этого века, после столь лихорадочного и колоссального труда, цель которого состояла в том, чтобы всё знать и всё сказать. Казалось, что наука, которая только что разрушила древний мир, должна была живо воссоздать его по тому идеалу, который мы имеем о справедливости и счастье. Ждали 20, 50, даже 100 лет. И потом, когда увидели, что справедливость все-таки не царствовала, что счастье не приходило, многие отдались всё растущему нетерпению, отчаиваясь и отрицая даже то, чтобы можно было посредством знания достигнуть блаженной воли. Явление известное: нет действия без реакции, и мы присутствуем при неизбежной усталости, свойственной длинным путешествиям: люди садятся на краю дороги и, глядя на бесконечную равнину развертывающегося следующего века, отчаиваются дойти когда-нибудь до цели; доходят даже до того, что сомневаются даже в пройденном пути, сожалеют о том, что не легли в поле, чтобы спать в нем целую вечность. К чему идти, если цель будет постоянно удаляться? К чему знать, если нельзя знать всего? Уж лучше оставаться в чистой простоте, в счастливом неведении ребенка. Таким образом людям кажется, что наука, будто бы обещавшая счастье, на наших глазах обанкротилась.

Но наука разве обещала счастье? Я не думаю этого. Она обещала истину, и вопрос в том, можно ли делать счастье из истины? Чтобы довольствоваться ею, без сомнения, нужно много стоицизма, полного отречения от своего "я", ясности удовлетворенного ума, который можно встретить только у избранных. А между тем, какой крик отчаяния раздается среди страдающего человечества! Как жить без лжи и иллюзии! Если нет где-нибудь другого мира, в котором царствует справедливость, где богатые наказаны и добрые вознаграждены, как прожить без возмущения эту отвратительную человеческую жизнь? Природа несправедлива и жестока, и наука как будто приводит нас к уродливому праву сильного, так что разрушается всякая нравственность и всякое общество влечется к деспотизму. И вот в этой происходящей реакции, в этой усталости от излишка знания, о которой я говорил, есть тоже это отступление перед истиной, еще плохо разъясненной и кажущейся жестокой на наши глаза, неспособные еще понять и проникнуть все законы. Нет, нет воротимся к спокойному сну неведения! Действительность есть школа извращения, надо убить ее и отрицать, потому что действительность есть только безобразие и преступление, и люди бросаются в мечту, и нет другого спасения, как уйти от земли, довериться загробному и надеяться, что там, наконец, мы найдем удовлетворение нашей потребности братства и справедливости.

Этот-то отчаянный призыв к счастью мы слышим теперь. Он меня бесконечно трогает. И заметьте, что он слышится со всех сторон, как жалостный вопль среди грома движения науки, которая не останавливает своих колес и машин. Довольно с нас истины, давайте нам химер! Мы найдем спокойствие только тогда, когда будем мечтать о том, чего нет, когда будем уноситься в бесконечное: там только распускаются те мистические цветы, запах которых усыпит наше страдание. Уже музыка ответила, литература стремится удовлетворить новую жажду, живопись сообразуется с новой модой. Я

говорил вам о выставке Марсова поля: вы увидите там расцвет этой флоры древней живописи на окнах, жидких и худых мадонн, видения в сумрачных тенях, окостенелые лица с надломленными жестами примитивистов. Это -- реакция против натурализма, который умер и похоронен, как это говорят нам. Во всяком случае движение несомненно, потому что оно захватило все проявления духа, и надо считаться с ним и изучить и объяснить его, если не хочешь отчаяться в завтрашнем дне.

С своей стороны, господа, я, как старый и закоренелый позитивист, вижу в этом только неизбежную остановку в поступательном движении. Остановки, собственно, нет, потому что наши библиотеки, лаборатории, амфитеатры и школы не опустели. Внушает мне доверие и то, что социальная почва не изменилась, а остается всё той же демократическою почвою, на которой вырос наш век. Для того, чтобы расцвело другое искусство, чтобы новое верование изменило направление движения человечества, надо, чтобы это верование имело и новую почву, в которой оно могло бы произрасти, потому что не может быть нового общества без новой почвы. Вера не воскресает, и из мертвых религий можно делать только мифологии. Потому следующий век будет только утверждением нашего в том демократическом и научном порыве, который увлек нас и который продолжается. Всё, что я могу допустить, это -- то, что в литературе мы слишком закрыли горизонты.

Я лично сожалел уже о том, что был сектантом, желающий в искусстве держаться только что доказанных истин. Вновь пришедшие раскрыли горизонты, захватив неизвестное и тайну, и они хорошо сделали. Между истинами, установленным наукой и потому непоколебимыми, и истинами, которые она вырвет завтра из области неизвестного, чтобы в свою очередь закрепить их, есть неопределенное поле сомнений и исследований, которое принадлежит, как мне кажется, столько же литературе, сколько и науке.

Вот тут-то мы и можем делать наше дело передовых пионеров, объясняя соответственно своему характеру и силе ума действия неизвестных сил. Идеал ведь есть не что иное, как необъяснимое, как силы того бесконечного мира, в котором: мы купаемся, не зная их. И если мы можем придумывать решения, объясняющие неизвестное, неужели мы дюжем позволить себе сомневаться в открытых уже законах, представляя их себе иными и этим самым отрицая их? По мере того, как подвигается наука, несомненно отстывает и идеал, и мне кажется, что единственный смысл жизни, единственная радость, которую должно находить в жизни, состоит в этом медленном завоевании, хотя бы нам до ясна была грустная достоверность того, что всего мы никогда не узнаем.

В то смутное время, которое мы переживаем, господа, в наше время, столь пресыщенное и столь ищущее, появились пастыри душ, которые озабочены и горячо предлагают молодежи веру. Предложение великодушно, но, к сожалению, эта вера изменяется и извращается соответственно тому пророку, который ее предлагает. Их много различных, но ни одна из них не кажется мне ни очень ясною, ни очень определенной. Вас умоляют верить, не говоря определенно во что. Может быть, этого и нельзя, а может быть, тоже, что и не решаются этого сделать. Вас приглашают верить для того, чтобы вы имели счастье верить; главное, чтобы вы научились верить. Вопрос сам по себе не дурен: конечно, большое счастье полагаться на достоверность веры, какая бы она ни была; но беда в том, что нельзя руководить благодатью: она дует, где хочет.

Итак, я закончу с своей стороны, предложив вам тоже веру, умоляя вас иметь веру в труд. Работайте же, молодые люди! Я знаю, насколько этот совет кажется банальным. Нет публичного акта, при котором его не повторяли бы среди всеобщего равнодушия воспитанников. Но я прошу вас подумать о нем и позволю себе, я, бывший всё время только работником, сказать вам о том благе, которое я извлек из того долгого труда, который наполнил всю мою жизнь. Мое вступление в жизнь было трудное: я знал и нищету, и отчаяние, я жил потом в борьбе, живу в ней и теперь, разбираемый, отрицаемый, осыпаемый оскорблениями. И что ж? У меня была только одна вера, одна

сила -- труд. Поддержала меня только та огромная работа, которую я задал себе, передо мной всегда стояла вдалеке та цель, к которой я двигался, -- и этого было достаточно, чтобы поднимать меня, придавать мне мужество, когда плохая жизнь подавляла меня. Труд, про который я говорю вам, -- это труд правильный, ежедневный, урок, обязанность, которую себе задал, хоть на шаг каждый день подвигаться в своем деле сколько раз поутру я садился за свой стол о потерянной головой, с горечью во рту, мучимый какою-нибудь великой болью, физической или нравственной! И каждый раз, несмотря на возмущения моего страдания, мой урок для меня был облегчением и подкреплением. Я всегда выходил утешенным из своего ежедневного занятия, с сердцем, может быть, и разбитым, но еще не падающим и могущим жить до завтра.

Труд! Господа, только подумайте о том, что это единственный закон мира, тот регулятор, который влечет органическую материю к ее известной цели! Жизнь не имеет другого смысла, другой причины быть, мы все появляемся только для того, чтобы совершить нашу долю труда и исчезнуть.

Жизнь есть не что иное, как сообщенное движение, которое она получает и завещает и которое в сущности есть не что иное, как труд, как работа великого дела, совершаемого во все века. И потому как же нам не быть скромными и не принять того урока, который задан каждому из нас, без возмущения и не уступая гордости своего "я", которое считает себя центром и не хочет ступить в ряды?

Как только этот урок принят, мне кажется, что спокойствие должно установиться во всяком человеке, даже самом измученном. Я знаю, что есть умы, мучимые бесконечностью, которые страдают от тайны; к ним я братски обращаюсь, советую им занять свою жизнь каким-нибудь огромным трудом, которого, хорошо бы было, они не видели конца. Это--тот маятник, который даст им возможность идти прямо, это -- ежечасное рассеяние, это -- зерно, брошенное уму для того, чтобы он молот его и делал из него насущный хлеб с удовлетворенным сознанием исполненного долга. Конечно, это не разрешает никакой метафизической задачи, это только эмпирическое средство для того, чтобы честно или почти спокойно прожить свою жизнь; но разве мало того, чтобы приобрести нравственное и физическое здоровье, избежать опасности мечты, разрешая трудом вопрос о приобретении наибольшего возможного счастья на этой земле?

Я, признаюсь, никогда не доверял химерам. Нет ничего менее здорового как для человека, так и для народов, как заблуждение: оно уничтожает усилие, оно ослепляет, оно составляет тщеславие слабых. Продолжать держаться легенды, скрывать от себя действительность, верить, что достаточно мечтать о силе для того, чтобы быть сильным, -- мы видели, куда это ведет, к каким страшным бедствиям. Народам говорят, чтобы они смотрели вверх, чтобы они верили в высшую власть, чтобы они возносились к идеалу.

Нет, нет! Такие речи кажутся мне иногда безбожными. Сильный народ только тот, который трудится, и только труд дает мужество и веру. Чтобы победить, нужно, чтобы арсеналы были полны, чтобы вооружение было самое прочное и усовершенствованное, чтобы войско было обучено, доверяло своим начальникам и самому себе. Всё это приобретается: для этого нужно только доброе желание и метод. Будущий век, беспредельное будущее принадлежит труду. Пусть не сомневаются в этом. И разве мы не видим уже в поднимающемся социализме зачаток социального закона будущего, закона труда для всех, труда -- освободителя и примирителя?

Юноши, молодые люди, беритесь же за дело. Пусть каждый из вас берет за свой урок, который должен наполнить его жизнь. Как ни скромно бы было это дело, оно тем не менее будет полезно; в чем бы оно ни состояло, только бы оно поднимало вас. Когда вы его упорядочите без переутомления, давая то количество, которое вы в состоянии произвести каждый день, оно даст вам возможность жить здорово и весело и избавят вас от мук бесконечности. Какое здоровое и великое общество людей было бы то общество, в которое каждый член его вносил бы свою логическую долю труда! Человек, который работает, всегда бывает добр. И потому я убежден, что единственная вера, которая может спасти нас, есть вера и совершенное усилие. Прекрасно мечтать о вечности, но

для честного человека достаточно пройти эту жизнь, совершив свое дело".

Г-н Золя не одобряет того, что новые учителя молодежи предлагают ей верить во что-то неопределенное и неясное, и он совершенно прав в этом, но, к сожалению, с своей стороны предлагает ей тоже веру и веру в нечто еще более неясное и неопределенное деленное: веру в науку и в труд.

Г-н Золя считает как будто совершенно решенным и не подлежащим сомнению вопрос о том, что есть та наука, в которую надо не переставать верить. Трудиться во имя науки! Но в том-то и дело, что слово "наука" имеет очень широкое и мало определенное значение, так что то, что одни люди считают наукой, т. е. делом очень важным, считается другими и самым большим количеством людей, всем рабочим народом, ненужными глупостями. И нельзя сказать, чтобы это происходило только от необразования рабочего народа, не могущего понять всего глубокомыслия науки: сами ученые постоянно отрицают друг друга. Одни ученые считают наукой из наук философию, богословие, юриспруденцию, политическую экономию; другие ученые -- естественники -считают все это самым пустым, ненаучным делом, и, наоборот, то, что позитивисты считают самыми важными науками, считается спиритуалистами, философами и богословами если не вредными, то бесполезными занятиями. Но мало того, в одной и той же области всякая система среди самих жрецов своих имеет своих горячих защитников и противников, одинаково компетентных, утверждающих диаметрально противоположное. Мало того, в каждой области постоянно являются такие научные положения, которые, просуществовав иногда год, иногда десятки лет, оказываются вдруг заблуждениями и поспешно забываются теми самими, которые их пропагандировали.

Ведь мы все знаем, что то, что считалось исключительно наукой и делом очень важным у римлян, чем они гордились, без чего считали человека варваром, была риторика, т. е. такое упражнение, над которым мы теперь смеемся и считаем не только не наукой, но пустяками. Мы также знаем, что то, что считалось наукой и самым важным делом в средние века, была схоластика, над которой мы теперь также смеемся. И я думаю, не нужно особенной смелости мысли для того, чтобы и в том огромном количестве знаний, которые в нашем мире считаются важным делом и называются наукой, предугадывать такие, над которыми наши потомки, читая описания той серьезности, с которой мы занимались нашими риторикой и схолистикой, -- предметами, признаваемыми в наше время наукой, будут также пожимать плечами.

В наше время люди, освободившись от одних суеверий, не заметив еще этого, подпали под другие, не менее безосновательные и вредные, как и те, от которых они только что избавились. Избавившись от суеверий отживших религий, люди подпали под суеверия научные. Сначала кажется, что не может быть ничего общего между верованиями древнего еврея в то, что мир сотворен в 6 дней, что грехи отцов будут взысканы на детях, что некоторые болезни излечиваются созерцанием змеи, и верованием людей нашего времени в то, что мир произошел от вращения материи и борьбы существ, что преступность происходит от наследственности и что существуют микроорганизмы в виде запятых, от которых происходят такие-то болезни, и т. п. Кажется, что нет ничего общего между этими верованиями, но это только кажется.

Стоит перенестись воображением в умственное состояние древнего еврея, когда ему предлагались его верования его жрецами, чтобы убедиться в том, что основания, на которых принимались им положения о происхождении мира, и те, на которых принимаются людьми нашего времени различные научные положения, не только похожи, но совершенно тождественны.

Как еврей верил ведь собственно не в шестидневное творение и целительную змею, а в то, что есть люди, которые несомненно знают высшую, доступную человеку истину, и что поэтому хорошо верить в них, точно так же и люди нашего времени верят не в дарвиновскую теорию наследственности и запятые, а во все то, что им выдают за истину жрецы науки, основы деятельности которых остаются для верующих такими же

таинственными, какими оставались для евреев основы знания их руководителей.

Позволяю себе сказать даже и то, что я неоднократно замечал, что, точно так же как, не будучи никем, кроме своими же жрецами, проверяемы, древние жрецы смело лгали и выдавали за истину то, что им взбрело в голову, точно так же нередко случается делать то же самое и так называемым людям науки.

Вся речь г-на Золя направлена против учителей молодежи, призывающих ее к возвращению к отжитым верованиям, и г-н Золя считает себя их противником. В сущности же те, против которых он вооружается, т. е. верующие или скорее желающие верить в отжившую религию, и те, за которых борется г-н Золя, т. е. представители науки, -- люди одного лагеря, и если им разобратся хорошенько в своих стремлениях, то им спорить не о чем: querelles d'amoureux [ссоры влюбленных], как говорит Дюма. И те и другие ищут основ жизни, двигателей ее не в себе, не в своем разуме, а во внешних человеческих формах жизни: одни в том, что они называют религией, другие и том, что называется наукой. Одни, те, которые ищут спасения в религии, берут его из предания о древнем знании других людей и хотят верить этому чужому древнему знанию; другие, те, которые ищут спасения в том, что они называют наукой, берут не из своего знания, а из знания других людей и верят этому чужому знанию. Одни видят спасение человечества в исправленном, подновленном или очищенном полужидком, полужидком христианстве; другие видят его в совокупности самых случайных, разнообразных и ненужных знаний, которые они называют наукой и считают чем-то самобытно-действующим, благодетельным и потому неизбежно долженствующим исправить все недостатки жизни и дать человечеству высшее доступное благо. Одни как будто нарочно не хотят видеть того, что то, что они хотят восстановить и называют религией, есть только пустая кризалида, из которой бабочка уже давно улетела и кладет яички в другом месте, и что восстановление такой религии не только не может помочь бедам нашего времени, но может только усилить их, отводя глаза людей от настоящего дела. Другие не хотят видеть того, что то, что они называют наукой, будучи случайным собранием некоторых знаний, в настоящее время заинтересовавших нескольких праздных людей, может быть или невинным препровождением времени для богатых людей или, в лучшем случае, только орудием зла или добра, смотря по тому, в чьих руках оно будет находиться, но само по себе ничего не может исправить. В сущности же, в глубине души ни те, ни другие не верят в действительность того средства, которое они предлагают: а и те, и другие одинаково хотят только чем-нибудь отвести глаза себе и другим от той пропасти, перед которой уже стоит человечество и в которую, продолжая идти по тому же пути, оно неизбежно должно рухнуть. Одни видят это отвлекающее средство с мистицизмом, религии; другие, выразителем которых выступил Золя, в одуряющем действии труда для науки.

Разница между людьми, верующими в религию и в науку, только та, что одни верят в старую мудрость, ложь которой уже развенчана, а другие в новую, ложь которой еще не развенчана и которая поэтому еще внушает благоговейный трепет некоторым наивным людям. А между тем суеверие в том, что называется наукой, едва ли меньше, чем в том, что называется религией. Разница только в том, что одно -- суеверие прошедшего, другое -- суеверие настоящего.

И потому, не будет ли также опасно, последовав совету г-на Золя, посвятить свою жизнь служению тому, что в наше время и в нашем мире считается наукой? Что как я посвящу свою жизнь на исследование явлений в роде наследственности по учению Ломброзо, или коховской жидкости, или образования чернозема посредством деятельности червей, или круковского четвертого состояния материи и т. п., и вдруг узнаю перед смертью, что то, на что я посвятил всю свою жизнь, были глупые, а может быть, даже и вредные пустяки, а жизнь у меня была только одна.

Есть малоизвестный китайский философ Лаодзи (первый и лучший перевод его книги "О пути добродетели" Stanislas Julien). Сущность учения Лаодзи состоит в том, что высшее благо как отдельных людей, так в особенности и совокупности людей, народов

может быть приобретено через познание "Тао"-слово, которое переводится "путем, добродетелью, истиной", познание же "Тао" может быть приобретено только через неделание, "le non agir", как переводит это Julien. Все бедствия людей, по учению Лаодзи, происходят не столько от того, что они не сделали того, что нужно, сколько от того, что они делают то, чего не нужно делать. И потому люди избавились бы от всех бедствий личных и в особенности общественных, которые преимущественно имеет в виду китайский философ, если бы они соблюдали неделание (s'il pratiquaient le non agir).

И я думаю, что он совершенно прав. Пусть каждый усердно работает. Но что? Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; полковник с обучения людей убийству, фабрикант -- из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?

Но, может быть, надо говорить только о людях, работающих для науки?

Я постоянно получаю от разных авторов многочисленные тетради, часто и книги с работами, художественными и научными.

Один в окончательной форме разрешил вопрос христианской гносеологии, другой напечатал книгу о космическом эфире, третий разрешил социальный, четвертый -- политический, пятый -- восточный вопросы, шестой издает журнал, посвященный исследованиям таинственных сил духа и природы, седьмой разрешил проблему коня.

Все эти люди работают для науки неустанно и усердно, но я думаю, что время и труд не только всех этих писателей, но и многих других, не только пропали даром, но были еще и вредны. Вредны, во-первых, тем, что для приготовления этих писаний тысячи других людей делали бумагу, шрифт, набирали, печатали и, главное, кормили, одевали всех своих тружеников науки, и еще тем, что все сочинители эти, вместо того чтобы чувствовать свою вину перед обществом, как бы они чувствовали ее, если бы они играли в карты или горелки, со спокойной совестью продолжают делать свое никому ненужное дело.

Кто не знает тех безнадежных для истины и часто жестоких людей, которые так заняты, что им всегда некогда, главное -- некогда справиться с тем, нужно ли кому-нибудь и не вредно ли то дело, над которым они так усердно работают. Вы говорите им: "Ваша работа бесполезна или вредна потому-то и потому-то, погодите, рассудимте дело"; они не слушают вас и даже с иронией возражают: "Хорошо вам рассуждать, когда нечего делать, а я работаю над исследованием того, сколько раз такое-то слово употреблено таким-то древним писателем, или над определением форм атомов, или над телепатией" и т. п.

Но кроме этого меня всегда уж давно поражало то удивительное, утвердившееся особенно в Западной Европе, мнение, что труд есть что-то вроде добродетели, и еще гораздо прежде, чем прочесть это мнение, ясно выраженное в речи г-на Золя, я уже не раз удивлялся на это странное значение, приписываемое труду.

Ведь только муравей в басне, как существо, лишённое разума и стремлений к добру, мог думать, что труд есть добродетель, и мог гордиться им.

Г-н Золя говорит, что труд делает человека добрым; я же замечал всегда обратное: сознанный труд, муравьиная гордость своим трудом, делает не только муравья, но и человека жестоким. Величайшие злодея человечества Нерон, Петр I всегда - были особенно заняты и озабочены, ни на минуту не оставаясь сами с собой без занятий или увеселений.

Но если даже трудолюбие не есть явный порок, то ни в каком случае оно не может быть добродетелью. Труд так же мало может быть добродетелью, как питание. Труд есть потребность, лишение которой составляет страдание, но никак не добродетель. Возведение труда в достоинство есть такое же уродство, каким бы было возведение питания человека в достоинство и добродетель. Значение, приписываемое труду в нашем обществе, могло возникнуть только как реакция против праздности, возведенной в признак благородства и до сих пор еще считающейся признаком достоинства в богатых и

малообразованных классах. Труд, упражнение своих органов, для человека есть всегда необходимость, как о том одинаково свидетельствуют телята, скачущие вокруг кола, к которому они привязаны, и люди богатых классов, мученики гимнастики, всякого рода игр: карт, шахмат, lawn tennis'a и т. п., не умеющие найти более разумного упражнения своих органов.

Труд не только не есть добродетель, но в нашем ложно организованном обществе есть большею частью нравственно анестезирующее средство вроде курения или вина, для скрывания от себя неправильности и порочности своей жизни.

"Когда мне рассуждать с вами о философии, нравственности и религии, - мне надо издавать ежедневную газету с полмиллионом подписчиков, мне надо организовать войско, мне надо строить Эйфелеву башню, устраивать выставку в Чикаго, прорывать Панамский перешеек, дописать двадцать восьмой том своих сочинений, свою картину, оперу". Не будь у людей нашего времени: отговорки постоянного, поглощающего их всех труда, они не могли бы жить, как живут теперь. Только благодаря тому, что они пустым и большею частью вредным трудом скрывают от себя те противоречия, с которых они живут, только благодаря этому и могут люди жить так, как они живут.

И именно в качестве такого средства и представляет г-н Золя труд своим слушателям. Он прямо говорит: "Это только эмпирическое средство прожить честную жизнь и почти спокойную. Но разве этого мало, разве мало того, чтобы приобрести хорошее физическое и моральное здоровье и избежать опасности мечты, разрешая трудом вопрос наибольшего доступного человеку счастья?"

Таков совет, даваемый молодежи нашего времени г-ном Золя!

Совсем другое говорит Дюма.

Вот его письмо, написанное к редактору "Голуа".

"Милостивый государь!

Вы спрашиваете моего мнения относительно стремлений, которые, кажется, что обнаруживаются среди школьной молодежи, и относительно споров, которые предшествовали и сопровождали происшествия в Сорбонне. Я предпочел бы не давать своего мнения относительно чего бы то ни было, очень хорошо зная, что это ни к чему не поведет. Люди, которые и прежде были одинакового с нами мнения, останутся в нем еще в продолжение некоторого времени; те, которые были противоположного, будут упорствовать в нем всё более и более. Лучше бы было совсем не спорить. Мнения подобны гвоздям, сказал один моралист из моих приятелей: чем более по ним колотят, тем глубже их вколачивают.

Это не то, чтобы я не имел своего мнения относительно того, что называют великими мировыми вопросами, и относительно различных форм, которыми человеческий ум мгновенно одевает те предметы, о которых он рассуждает. Это мнение такое определенное и такое безусловное, что я предпочел бы сохранить его для своего личного руководства, не имея притязания ничего творить, ничего разрушать. Мне должно бы было возвратиться к тем великим политическим, социальным, философским, религиозным вопросам, и это повело бы нас слишком далеко, если бы я последовал за вами в исследовании незначительных внешних явлений, вызываемых этими вопросами в каждом новом поколении. В самом деле, каждое новое поколение приходит с мыслями и страстями, старыми как мир, хотя оно думает, что никто не имел их раньше его, потому что оно в первый раз находится под их влиянием, и оно убеждено, что оно вот-вот преобразует всё существующее.

В то время, как человечество пытается разрешить в продолжение тысячелетий эту великую задачу причин и следствий, которую оно едва ли разрешит и через тысячи веков, если и допустить, чего я не допускаю, возможность ее разрешения, двадцатилетние дети объявляют, что они имеют неопровержимое разрешение ее в их совершенно молодых мозгах. И как первый довод в первом же споре, они начинают колотить по тем, которые с ними не согласны. Должно ли из этого заключить, что это есть признак возвращения целого общества к религиозному идеалу, временно

затемненному и оставленному? Или у всех этих молодых апостолов это есть только чистый физиологический вопрос, вопрос горячности крови, силы мускулов, горячности и силы, которые толкали молодежь двадцать лет тому назад на противоположное движение? Я склоняюсь к последнему предположению.

Тот грубо ошибался бы, кто хотел бы видеть в проявлениях возраста, полного силы, доказательство окончательного развития или хотя бы прочного. Тут есть только припадок лихорадки роста. Какого бы рода ни были те идеи, во имя которых молодые люди колотят друг друга, можно пари держать, что они будут противниками этих идей, как скоро они встретят их в своих детях. Возраст и опыт сделают это.

Многие, многие из воюющих и врагов настоящего часа рано или поздно встретятся на проселочных дорогах жизни отчасти усталые, отчасти разочарованные борьбой с действительностью, и вместе рука с рукой вернутся на большую дорогу, с грустью признавая то, что, несмотря на их прежние убеждения, земля осталась круглою и вертится всё в том же направлении и что те же горизонты расстилаются под всё тем же бесконечным и закрытым небом,

Вволю поспорив и подравшись, одни во имя веры, другие во имя науки, столько же для того, чтобы доказать, что есть бог, сколько и для того, чтобы доказать, что его нет, -- два утверждения, насчет которых можно драться вечно, если решать не разоружаться до тех пор, пока не докажут, -- они согласятся окончательно, что одни не знают об этом больше, чем другие, но что они твердо знают, что в конце концов человеку нужно надеяться столько же, если и не больше, чем знать, и что он страдает ужасно от неизвестности, в которой он находится, о вещах более всего для него интересных, что он постоянно ищет положения лучшего, чем то, в котором он находится, к чему ему надо предоставить полную свободу искать в области философии это средство быть более счастливым.

Перед ним был мир, который был до него и останется после него, и он знает, что мир этот вечен и что он желал бы участвовать в этой вечности. Раз он был призван к жизни, он требует своей доли в жизни вечной, которая окружает его, возбуждает его, подсмеивается над ним и уничтожает его. Так как он знает, что он начался, он не хочет кончиться. Он громко призывает, он тихим голосом молит о достоверности, которая постоянно ускользает от него для его же счастья, потому что достоверное знание было бы для него неподвижностью и смертью. Так как сильнейший двигатель человеческой энергии есть неизвестное, так как он не может установиться в достоверности, он носится в неопределенных идеалах, и как бы далеко он ни отклонялся в скептицизм, в отрицания, вследствие гордости, любопытства, злобы, моды, он всегда возвращается к надежде, без которой он не может жить. Это как ссора влюбленных: ненадолго.

Так что бывает иногда затемнение, но нет никогда полного исчезновения человеческого идеала. Через него проходят философские туманы, как облака перед месяцем, но белое светило продолжает свое шествие и вдруг появляется из-за них нетронутым и блестящим. Эта неудержимая потребность идеала в человеке объясняет то, что человек бросался с таким доверием, с таким восторгом, без разумного контроля в различные религиозные формулы, которые, обещая ему бесконечное, предлагали ему ему сообразно его природе и ставили его в известные рамки, всегда необходимые даже для идеала.

Но вот уже давно при каждой станции движения человечества новые люди выходят из мрака в всё большем и большем количестве, в особенности за последние 100 лет, и люди эти во имя разума, науки, наблюдения отрицают истины, объявляют их относительными и хотят разрушить те формулы, которые их содержат.

Кто прав в этом споре? Все -- до тех пор, куда все ищут, и никто -- как только начинают угрожать. Между истиной, которая составляет цель, и свободным исследованием, на которое всякий имеет право, силе нечего делать, несмотря на знаменитые примеры противного. Сила только удаляет цель, вот и всё. Она не только жестока, она бесполезна, что составляет самый большой недостаток и деле цивилизации.

Никакой удар кулака, как бы силен он ни был, не докажет ни существования, ни несуществования бога. И, наконец, та сила, какая бы она ни была, которая сотворила мир, так как он, как мне кажется, все-таки не мог сотвориться сам, сделав нас своими орудиями, удержала за собой право знать, зачем она нас сделала и куда она нас ведет. Сила эта, несмотря на все намерения, которые ей приписывали, и на все требования, которые к ней предъявляли, сила эта, как кажется, желает удержать свою тайну, и потому (я скажу здесь всё, что думаю) мне кажется, что человечество начинает отказываться от желания проникнуть ее. Человечество обращалось к религиям, которые ничего не доказали ему, потому что они были различны; обращалось к философиям, которые не более того разъяснили ему, потому что они были противоречивы; оно постарается теперь управиться одно с своим простым инстинктом и своим здравым смыслом, и так как оно живет на земле, не зная зачем и как, оно постарается быть настолько счастливым, насколько это возможно, теми средствами, которые предоставляет ему наша планета.

Недавно Золя в замечательной речи, обращенной к студентам, советовал им как лекарство, даже как панацею против всех затруднений в жизни, -- труд. *Labor improbus omnia vincit* (Неутомимый труд все побеждает.) Лекарство известно, и от этого оно не менее хорошо, но оно всегда было и продолжает быть недостаточным. Пусть работает человек своими мускулами или своим умом, все-таки никогда не может быть его единственной заботой приобретение пищи, наживание состояния или приобретение славы. Все те, которые ограничивают себя этими целями, чувствуют и тогда, когда они достигли их, что им еще недостает чего-то: дело в том, что, что бы ни производил человек, что бы ни говорил, что бы ему ни говорили, он состоит не только из тела, которое надо кормить, и ума, который надо образовывать и развивать, у него несомненно есть еще и душа, которая еще заявляет свои требования. Эта-то душа находится в не перестающем труде, в постоянном развитии и стремлении к свету и истине. До тех пор, пока она не получит весь свет и не завоюет всю истину, она будет мучить человека.

И вот -- она никогда так не занимала, никогда не налагала с такою силою свою власть на человека, как в наше время. Она, так сказать, разлита во всем том воздухе, который вдыхает мир. Те несколько индивидуальных душ, которые отдельно желали общественного перерождения, мало-помалу отыскивали, призывали друг друга, сблизились, соединились, поняли себя и составили группу, центр притяжения, к которому стремятся теперь другие души с четырех концов света, как летят жаворонки на зеркало: они составили таким образом общую, коллективную душу с тем, чтобы люди вперед осуществляли сообща, сознательно и неудержимо предстоящее единение и правильный прогресс наций, недавно еще враждебных друг другу. Эту новую душу я нахожу и узнаю в явлениях, которые кажутся более всего отрицающими ее.

Эти вооружения всех народов, эти угрозы, которые делают друг другу их представители, эти возобновления гонения известных народностей, эти враждебности между соотечественниками и даже эти ребячества Сорбонны суть явления дурного вида, но не дурного предзнаменования. Это -- последние судороги того, что должно исчезнуть. Болезнь в этом случае есть только энергическое усилие организма освободиться от смертоносного начала.

Те, которые воспользовались и надеялись еще долго и всегда пользоваться заблуждениями прошедшего, соединяются с целью помешать всякому изменению. Вследствие этого -- эти вооружения, эти угрозы, эти гонения; но, если вы взглянете внимательнее, вы увидите, что всё это только внешнее. Всё это колоссально, но пусто.

Во всем этом уже нет души: она перешла в иное место. Все эти миллионы вооруженных людей, которые каждый день упражняются в виду всеобщей истребительной войны, не ненавидят уже тех, с которыми они должны сражаться, и ни один из их начальников не смеет объявить войны. Что касается до упреков, даже заражающих, которые слышатся снизу, то уже сверху начинает отвечать им признающее их справедливость великое и искреннее сострадание.

Взаимное понимание неизбежно наступит в определенное время и более близкое, чем мы полагаем. Я не знаю, происходит ли это оттого, что я скоро уйду из этого мира и что свет, исходящий из-под горизонта, освещающий меня, уже затемняет мне зрение, но я думаю, что наш мир вступает в эпоху осуществления слов: "Любите друг друга", без рассуждения о том, кто сказал эти слова: бог или человек.

Спиритуалистическое движение, заметное со всех сторон и которым столько самолюбивых и наивных людей думают управлять, будет безусловно человечно. Люди, которые ничего не делают с умеренностью, будут охвачены безумием, бешенством любить друг друга. Это сначала, очевидно, не совершится само собой. Будут недоразумения, может быть и кровавые: так уж мы воспитаны и приучены ненавидеть друг друга часто теми самыми людьми, которые призваны научать нас любви. Но так как очевидно, что этот великий закон братства должен когда-нибудь совершиться, я убежден, что наступают времена, в которые мы неудержимо пожелаем, чтобы это совершилось.

А. Дюма

1 июня 1893 года"

Главная разница между письмом Дюма и речью Золя, не говоря уже о внешней разнице, состоящей в том, что речь Золя обращена к молодежи и точно как будто заискивает перед нею (что стало обыкновенным и неприятным явлением нашего времени так же, как и заискивание писателей перед женщинами), письмо же Дюма не обращено к молодежи и не говорит ей комплиментов, а напротив, указывает ей ее всегдашнюю ошибку самонадеянности, и вследствие этого самого, вместо того чтобы внушать юношам, что они очень важные, люди и что в них вся сила, чего они никак не должны думать для того, чтобы сделать что-нибудь путное, научает не только их, но взрослых и старых очень многому, -- разница гласная в том, что речь Золя усыпляет людей, удерживая их на том пути, на котором они стоят, уверяя их в том, что то, что они знают, и есть то самое, что им нужно знать; письмо же Дюма будит людей, указывая им то, что жизнь их идет совсем не так, как она должна идти, и что они не знают того самого главного, что им нужно знать. Дюма так же мало верит в суеверие прошедшего, как и в суеверие настоящего. Но зато и именно потому, что он не верит ни в суеверие прошедшего, ни в суеверие настоящего, он сам наблюдает, сам думает и потому видит ясно не только настоящее, но и будущее, как видели его всегда те, которых в древности называли видящими пророками. Как ни странно это может казаться тем, которые, читая сочинения писателей, видят только внешнюю сторону писания, а не душу писателя, тот самый Дюма, который написал "Dame aux Camelias", "Affaire Clemenceau" ("Дама с камелиями", "Дело Клемансо") и др., этот самый Дюма видит теперь будущее и пророчествует о нем. Как ни странно это кажется нам, привыкшим представлять себе пророка в звериной шкуре и в пустыне, пророчество остается пророчеством, несмотря на то, что оно раздается не на берегах Иордана, а печатается на берегах Сены в типографии "Голуа", и слова Дюма - действительное пророчество и носят на себе все главные признаки пророчества: во-первых, тот, что слова эти совершенно противоположны всеобщему настроению людей, среди которых они раздаются; во-вторых, тот, что, несмотря на это, люди, слышащие эти слова, сами не зная почему, соглашались с ними и, в-третьих, главное, тот, что пророчество содействует осуществлению того, что оно предсказывает.

Чем люди больше будут верить в то, что они могут быть приведены чем-то внешним, действующим само собою, помимо их воли, религией или наукой, к изменению и улучшению своей жизни, тем труднее совершится это изменение и улучшение. И в этом главный недостаток речи Золя. Но, напротив, чем больше они будут верить тому, что предсказывает Дюма, -- тому, что неизбежно и скоро наступит то время, когда люди все будут увлечены любовью друг к другу и, отдавшись ей, сами по своей воле изменят всю теперешнюю жизнь, -- тем скорее наступит это время. И в этом главное достоинство письма Дюма. Золя советует людям не изменять своей жизни, а только

усиливать деятельность в раз принятом направлении, и этим внушает им неизменение их жизни. Дюма же, предсказывая внутреннее изменение чувств людей, внушает им его.

Дюма предсказывает, что люди, испробовав всё, возьмутся наконец -- и в очень скором времени -- серьезно за приложение к жизни закона "любви друг к другу" и будут, как он говорит, охвачены "безумием, бешенством" любви. Он говорит, что видит уже среди явлений, представляющихся столь угрожающими, признаки этого нового нарождающегося любовного настроения людей, видит, что поголовно вооруженные народы уже не ненавидят друг друга: видит, что в борьбе богатых классов с бедными проявляется уже не торжество победителей, а искреннее сострадание победителей к побежденным и недовольство и стыд перед своей победой; видит, главное, как он говорит, образовавшиеся центры любовного притяжения, нарастающие, как ком снега, и неизбежно должныствующие привлечь к себе все живое, до сих пор еще не присоединявшееся к ним, и этим путем изменения настроения уничтожится всё то зло, от которого страдают люди.

Я думаю, что если и можно оспаривать близость того переворота, который предсказывает Дюма, или даже самую возможность такого увлечения людей любовью друг к другу, никто не будет спорить о том, что если бы это случилось, то человечество избавилось бы от большей части всех удручающих его и угрожающих ему бедствиям. Нельзя не признать того, что если бы люди делали то, что им предписывали тысячи лет тому назад, не только Христос, но все мудрецы мира, т. е. хотя бы не только любили других, как себя, но не делали бы хоть другим того, чего не хотят, чтобы им делали, что если бы люди вместо эгоизма продались альтруизму, если бы склад жизни из индивидуалистического переменялся в коллективистический, как на своем дурном жаргоне выражают ту же самую мысль люди науки, то жизнь людей, вместо того чтобы быть бедственной, стала бы счастливой. Мало того, все признают и то, что жизнь, продолжаемая на тех языческих основах борьбы, на которых она идет теперь, приведет неизбежно человечество к величайшим бедствиям и что время это уже близко. Все люди видят, что чем больше и энергичнее будут они отнимать друг у друга землю и произведения их труда, тем озлобленнее будут становиться они и тем неизбежнее рано или поздно отнимут те люди, у которых более всего отнято, у похитителей то, чего их так долго лишали, и жестоко отплатят еще за все перенесенные ими лишения. Все уже давно видят ту до смешного очевидную нелепость взаимного вооружения пародов, которое неизбежно должно кончиться если не ужаснейшими и бесконечными побоищами, то всеобщим совершающимся уже разорением и вырождением всех людей, участвующих в этом круге вооружений. Кроме того, все люди нашего мира признают обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский и

закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека.

Люди знают всё это и, несмотря на то, устраивают жизнь свою противно и своей выгоде, и безопасности, и закону, который они исповедуют.

Очевидно, есть какая-то скрытая, но важная причина, мешающая людям исполнять то, что им выгодно, что избавило бы их от очевидной опасности и что они признают обязательным для себя, религиозным или нравственным законом. Ведь не для того же, чтобы обманывать друг друга, восхваляется среди них уже столько столетий и теперь с тысяч разных религиозных и светских кафедр проповедуется любовь друг к другу. Ведь давно пора бы людям решить, что любовь к ближнему выгодное, полезное и доброе дело, и на основании ее устроить свою жизнь или, признав, что любовь есть неосуществимая мечта, перестать говорить о ней. Но люди все не делают ни того, ни другого: они продолжают жить противно любви и продолжают восхвалять ее. Очевидно, они верят, что любовь возможна, желательна и свойственна им, но не могут осуществить ее. Отчего же это происходит?

Все великие перемены в жизни одного человека или всего человечества начинаются и совершаются только в мысли. Какие бы ни происходили внешние

перемены в жизни людей, как ни проповедовали бы люди необходимость изменения чувств и поступков, жизнь людей не изменится до тех пор, пока не произойдет перемены в мысли. Но стоит произойти перемене в мысли, и рано или поздно, смотря по важности перемены, она произойдет в чувствах и в действиях и в жизни людей так же неизбежно, как произойдет поворот корабля после поворота руля.

С первых слов своей проповеди Христос не говорил людям: поступайте так или этак, имейте такие или иные чувства; но он говорил людям: одумайтесь, измените свое понимание жизни. Он не говорил людям: любите друг друга (это уже он говорил после своим ученикам, людям, понявшим его учение); но он говорил всем людям то же, что говорил его предшественник Иоанн Креститель: покайтесь, т. е. одумайтесь, измените свое понимание жизни, одумайтесь, иначе все погибнете, говорил он. Не может смысл вашей о жизни состоять в том, чтобы каждый из вас искал отдельного блага своей личности или блага известной совокупности людей, говорил он, потому что благо это, приобретаемое в ущерб другим личностям, семьям, народам и ищущим того же и теми же средствами, очевидно не только не достижимо, но неизбежно должно привести вас к гибели. Поймите то, что смысл нашей жизни может быть только в исполнении воли того, кто послал вас в нее и требует от вас не служения вашим личным целям, а его цели, состоящей в установлении единения и любви между всеми тварями, в установлении царства небесного, когда перекуют мечи на сошники и копья на серпы и лев будет лежать с ягненок, как выражали это пророки. Измените ваше понимание жизни, иначе все погибнете, говорил он. Но люди не слушали Христа и не изменили своего понимания жизни тогда и до сих пор удержали его. И вот это ложное понимание жизни, удерживаемое людьми, несмотря на усложнение форм жизни и развитие сознания людей нашего времени, и составляет ту причину, по которой люди, понимая всю благодетельность любви, всю опасность жизни, противной ей, признавая ее законом своего бога или законом жизни, все-таки не могут следовать ей.

И в самом деле, какая же есть возможность человеку нашего мира, полагающему цель своей жизни в своем личном или семейном, или народном благе, добываемом только напряженной борьбой с другими людьми, стремящимися к тому же, среди учреждений мира, узаконивающих всякую борьбу и насилие, - действительно любить тех, которые всегда стоят ему на дороге и которых он должен неизбежно губить для достижения поставленных им для себя целей?

Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. Для того же, чтобы могла произойти перемена мысли, человеку необходимо остановиться и обратить внимание на то, что ему нужно понять. Чтобы люди, с криком и грохотом колес несущиеся к пропасти, услышали то, что им кричат те, которые хотят спасти их, им надо прежде всего остановиться. А то как же человек изменит свои мысли, свое понимание жизни, когда он, не переставая, будет с увлечением, да еще подгоняемый людьми, которые уверяют его, что это-то и нужно, работать на основании того самого ложного понимания жизни, которое ему нужно изменить?

Страдания людей, вытекающие из ложного понимания жизни, так назрели, благо, даваемое истинным пониманием жизни, так стало всем ясно и очевидно, что для того, чтобы люди изменили свою жизнь сообразно своему сознанию, им не нужно в наше время уже ничего предпринимать, ничего делать, а нужно только остановиться, перестать делать то, что они делают, сосредоточиться и подумать.

Люди нашего христианского мира находятся в том же положении, в котором находились бы люди, надрывающиеся над стягиванием с места легкой тяжести только потому, что они спеша не могут сговориться и не переставая тянут в противоположные стороны.

Если в прежнее время, когда еще не до такой степени выяснилась бедственность языческой жизни и благо, обещаемое любовью, люди могли бессознательно поддерживать рабство, угнетения, казни, войны и разумными доводами защищать свое

положение, то в настоящее время это стало уже совершенно невозможно: люди нашего времени могут жить языческой жизнью, но уже не могут оправдывать ее. Людям нашего христианского мира стоит только на минуту остановиться в своей деятельности, обдумать свое положение, примерить требование своего разума и своего сердца к окружающим их условиям жизни, чтобы увидеть, что вся жизнь их, все поступки их есть постоянное вопиющее противоречие с их совестью, разумом и сердцем.

Спросите отдельно каждого человека нашего времени о том, чем он руководится и считает нужным руководиться в своей жизни, и почти каждый скажет вам, что он руководится если не любовью, то справедливостью, -скажет вам, что для него лично, признающего или обязательность христианского учения, или нравственные светские принципы, основанные на том же христианстве, не нужны ни насилия, ни суды, ни казни, ни война и что подчиняется этим условиям жизни потому, что они нужны для других людей; спросите другого, третьего, и почти все скажут то же. И все они искренни. По свойству их сознания большинство людей нашего времени уже давно должны бы жить между собой, как христиане. Посмотрите, как они живут в действительности: они живут, как звери.

Итак, большинство людей христианского мира нашего времени живет языческой жизнью не столько потому, что оно желает жить так, сколько потому, что устройство жизни, когда-то нужное для людей с совершенно другим сознанием, осталось то же и поддерживается постоянно суетой людей, не дающей им времени опомниться и изменить его соответственно своему сознанию.

Стоит людям перестать хоть только на время делать то, что им советует Золя и его мнимые противники, все те, которые под предлогом медленного и постепенного прогресса желают удержать существующий порядок: перестать одурять себя ложными верованиями религии или науки и, главное, неустанным самодовольным трудом над делами, не оправдываемыми их совестью, и они тотчас же увидели бы, что смысл их жизни не может быть в очевидно обманчивом стремлении к одиночному, построенному на борьбе с другими, благу личному, семейному, народному или государственному; увидели бы, что единственный возможный, разумный смысл жизни есть тот, который уже 1800 лет тому назад был христианством открыт человечеству.

Пир уже давно готов, и уже давно все званы на него; но один купил землю, другой женится, третий пробует быков, четвертый строит железную дорогу, фабрику, занят миссионерством в Индии или Японии, читает проповеди, проводит билль "гомруля" или военного закона, или проваливает его, держит экзамен, пишет ученое сочинение, поэму, роман. Всем некогда, некогда очнуться, опомниться, оглянуться на себя и на мир и спросить себя: что я делаю? зачем? Ведь не может же быть того, чтобы та сила, которая произвела меня на свет с моими свойствами разума и любви, произвола меня с ними только затем, чтобы обмануть, только затем, чтобы я, вообразив себе, что для достижения наибольшего блага своей гибнущей личности я могу распорядиться как хочу своей и другими жизнями, убедился, наконец, что чем больше я стараюсь делать все это, тем хуже и мне, и семье, и народу, и тем дальше отступаю я и от требований любви и разума, вложенных в меня и ни на минуту не перестающих заявлять свои требования, и от истинного блага. Не может же быть того, чтобы эти высшие свойства моей души были присвоены мне только затем, чтобы они, как колодка на ногах пленника, мешали мне в достижении моих целей. И не вероятнее ли то, что сила, произведшая меня на свет, произвела меня с моим разумом и любовью не для моих случайных, мгновенных, всегда противных целям других существ, целей (чего она и не могла сделать, так как меня и моих целей не было еще, когда она производила меня), а для достижения своей цели, для содействия которой, и даны мне эти основные свойства моей души. И потому не лучше ли мне, вместо того чтобы, упорствуя в следовании своей воле и воле других людей, противных этим высшим свойствам и приводящих меня к бедствиям, раз навсегда признав целью своей жизни исполнение воли пославшего меня во всем и всегда, несмотря ни на какие другие соображения, следовать только тем указаниям разума и

любви, которые он вложил в меня для исполнения его воли?

Таково христианское понимание жизни, просящееся в душу каждого человека нашего времени. Для того, чтобы осуществилось царство божие, нужно, чтобы все люди начали любить друг друга без различия личностей, семей, народностей. Для того, чтобы люди могли так любить друг друга, нужно, чтобы изменилось их жизнепонимание. Для того, чтобы изменилось их жизнепонимание, нужно, чтобы они опомнились; а чтобы они, могли опомниться, им нужно прежде всего остановиться жить на время в той горячечной деятельности во имя дел, требуемых языческим пониманием жизни, которой они предаются; нужно хоть на время освободиться от того, что индийцы называют "сансара", от той суеты жизни, которая более всего другого мешает людям понять смысл их существования.

Бедственность жизни языческой и ясность и распространенность христианского сознания дошли в наше время до такой степени, что людям стоит только остановиться в своей суете, и они тотчас увидят бессмысленность своей деятельности, и христианское понимание само собой так же неизбежно, как неизбежно на морозе замерзает вода, как скоро перестать шевелить ее, сложится в их сознании. А стоит людям усвоить это жизнепонимание, и любовь их друг к другу, ко всем людям, ко всему живому, находящаяся теперь в них в скрытом состоянии, так же неизбежно проявится в их деятельности и станет двигателем всех их поступков, как теперь при языческом понимании жизни проявляется любовь к себе, к своей исключительной семье, исключительному народу.

А стоит проявиться этой любви христианской в людях, и сами собой, без малейшего усилия, распадутся старые и сложатся те новые формы благой жизни, отсутствие которых представляется людям главным препятствием к осуществлению того, чего уже давно требуют их разум и сердце.

Только бы люди одну сотую той энергии, которую они прилагают теперь к совершению различных материальных, ничем не оправданных и потому затемняющих их сознание дел, употребили на уяснение этого самого сознания и на исполнение того, чего оно требует от них, и гораздо скорее и проще, чем мы можем себе представить это, установилось бы то царство божие, которого он требует от людей, и люди нашли бы то благо, которое обещано им.

Ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам.

9 августа 1893 г.